

Из рассказа калмычки-монахини А. В. Невзоровой (о Емельяне Пугачеве и Устинье Кузнецовой в передаче И. И. Железнова)

— Скажи-ка ты мне: сколько тебе отроду лет?

— Много, много, дитяtko: кажись, сотенный годок пошел, — отвечала Августа.

— В Пугачев, что ли, год родилась?

— Ой, нет, дитяtko! в Пугачев год я была годов десятку, коли не больше.

— Значит, помнишь Пугачева?

— Как не помнить?! Хоша многого-то и не помню, а все-таки кое-что осталось в памяти. Как теперь смотрю на него, голубчика: такой был мужественный, величавый, настоящий царь...

— Как царь? — перебил я. — Бродяга, как есть бродяга! А вы царем его считаете. Смешно!

— Ах, дитяtko! Что ты говоришь! Можно ли его царскую особу так обзывать? — возразила монахиня. — Он был настоящий царь, истовый Петр Федорович! А что он был бежавший, это правда, дитяtko, точно что бежавший, супротив этого спорить не буду. Да ведь это со всяким может случиться: век пережить — не поле перейти: нынче князь — завтра в грязь...

— Как бежавший? — опросил я.

— Да так, просто-напросто бежавший, от налога, значит, бежал, и царство не взлюбилось, — отвечала монахиня. — Между нами будь сказано, — продолжала она, погодя немного, — не вмоготу стала жизнь ему в Питере... Да ты, кормилец, не поставь мне в осуждение мои простые, бесхитростные слова, — оговорила монахиня.

— Говори, говори, матушка!

— Ну, то-то, дитяtko! Слушай-ка. Я перескажу тебе, что я в молодую мою пору слышала от старых людей. Отец моего свекора близок был к Петру

Федоровичу; да и дядюшка мой родной его же руку держал. Дядюшку моего и с сыном, двоюродным братцем моим (Кораблевы прозывались) убили на приступе к крепости... Вот и выходит, что мне было от кого слышать.

— У него, — продолжала монахиня, — у Петра Федоровича, между нами будь сказано, вышло несугласье с супружницей его, матушкой царицей Катериной Лексевной. Господь их ведает, из-за чего у них там стало, не наше дело, суди их царь небесный, а нам не подобает разузнавать и допытываться, что как было. Поговаривали только, что он, батюшка наш, был ревнивый, ревнивый такой, а она, матушка наша, супротив него была непокорлива такая. И пробежала, знать, между ними черная кошка. Супротивниками ему были еще эти Чернышевы, Орловы, Пановы (Панины) и иные прочие енералы, что в Питере при дворце служили. Он видит, что одному ему супротив всех не совладать, взял да и скрылся тайно из дворца, как святой Алексей божий человек скрылся из палат своего отца-царя.

— Да как же все это случилось? — спросил я монахиню. — Царь, и тайно скрылся из дворца! Что-то мудрено, матушка.

— Мудреного ничего нет, дитячко, — сказала монахиня: всячина бывает на белом свете. Цари — цари, а и с ними перетурка бывает... Об этом самом деле поговаривали в народе, что случилось это таким побытом. Он, Петр-то Федорович, хоша природой-то был и нашего царского корня, но родился в иной земле, там, вишь, и вырос. Значит, были у него там и сродники, и приятели, и, между нами будь сказано, приятельницы. В ту самую пору, как вышло у него с матушкой-то Катериной Лексевной несугласье, вот в эту-то пору, словно на грех, к нему и приехала из иной земли на кораблях со свитой какая-то иностранная принцесса, может и нарочно, чтобы в огонь масла подлить. Он обрадовался и пошел к ней на корабль в гости, да и загулял, батюшка!. А гулять-то он, сказывали старики, гулять-то, не об нем будь упомянуто, куда охотник был. Трое суток, говорят, не выходил из ее банкета: все пунши, да танцы, да музыка. Матушке-то Катерине Лексевне, знамо, показалось это за великую досаду. Вот она на четвертый день выходит и шлет к нему посла, чтобы он оставил банкет и шел в свою царскую семью, а он не слушает. Она другого шлет; он и другого не слушает. Она третьего, а он и третьего не слушает. Напоследок сама матушка Катерина Лексевна идет на корабельную пристань, но не показалась ему на глаза, а посмотрела только в стеклянные двери, как он там прохлаждается. Посмотрела матушка, покачала головушкой и удалилась во дворец, только промолвила: «Нет, не исправишь!» Адъютанты

и приспешники, что были при Петре Федоровиче, и говорят ему: «Пора-де до дому, ваше царское величество, а то долго ли до беды: сама-де царица здесь была и ушла больно-де сердитая. Быть беде».

— Пустяки! — говорит Петр Федорович. — Жена не посмеет ничего супротив меня сделать. Коли захочу, в монастырь ее упеку. Только одно слово скажу...»

— Ан и посмела! — заметила монахиня. — Женщина она, а лютая была. Чрез сколько-то времени, — продолжала рассказчица, — в ночную пору царь пошел во дворец понаведаться, что там такое деется, подошел к воротам, а они на запоре. Вот тебе и не посмеет! Часовой, что у ворот стоял, окликает:

— Кто идет?

— Царь! — говорит Петр Федорович.

— Нет у нас царя! У нас царица! — говорит часовой дерзким манером.

Петр Федорович кинулся было к нему, хотел, значит, ударить его и вразумить, а он, не будь дурен, уставил в него ружье: Застрелю! — кричит. — Уйди лучше!»

Нечего было делать, побился, побился он около ворот и часового и ушел опять на корабельную пристань, сел на корабличек и уехал в иную землю.

Таким-то побытом и стал он, батюшка, странствовать из царства в царство, из королевства в королевство. То к тому придет царю, то к другому. Все по тайности его принимали, все его поштовали, а помощи ему не давали. Один говорит: «Не могу в чужие дела входить — своих много». Другой говорит: «Свой дерись-бранись, а чужой не приставай». С их стороны это был только отвод один, а на самом-то деле они крепко побаивались матушки Катерины Лексевны. Ведь она даром что женщина была, а какая разумная, да и воевать-то была горазда, что твоя Ольга премудрая: супротив нее ни один царь не стоял — всех побивала. На что уж прущкой король Фридрих воин был, говорят, от всего света, и богатырь: железные подковы разгибал, всех соседних царей побивал, а она, наша матушка, и его побивала. Значит всех сильнее, войничее была! Сколько она земель отбила от супротивников, сколько городов побрала, сколько дани перебрала, — и не перечесть! Турского салтана, говорят, вдосталь забила. Все Черное море своими кораблями покрыла, Очаков, Анапу взяла. И к Царюграду подступала, да не взяла: время не пришло, дитятко, — по писанию святых отцов, возьмут наши

Царьград в последнее время при царе Константине... Однако много с турецкого салтана отсталого взяла и обязала его, век-по-веки, платить нашему царю дань. И платит с той поры турецкий салтан нашему царю дань великую: оттого самого наши цари и богаты. Вот она какая была, наша красавица! Ну, кто ж супротив нее смел итти? Никто, дитяtko! Все на нее зубы грызли, а супротивничать не смели. Особенно зол был на нее турецкий салтан. Из досады-то, что она его дошибла, данью обложила, в корень, что называется, разорила, он, говорит, и шепнул Петру Федоровичу, когда тот к нему в Царьград пришел: «Ты, говорит, что по чужим-то огородам шатаешься? У тебя, говорит, свой зеленый сад стоит. Толкнись-ка ты, говорит, к орлам своим брадытым, сиречь к казакам яицким: присугласи, говорит, их к себе и уж через них, говорит, получишь ли, нет ли, что тебе следует. Они, говорит, орлы-воины, кремьнь-воины; я, говорит, знаю их, по их сродственничке, по Игнат Некрасове; все, говорит, одной породы. Они, говорит, знаю, постоят за отечество...»

— И впрямь, кормилец, — вмешала рассказчица свое замечание, — какие и воины-то были эти старые казаки, не нынешним чета. Любо-дорого было смотреть на старого казака. Разоденется, бывало, в кармазинный зипун, в широкие шаровары, в ину пору парчевые, на голову нахлобучит высокую баранью шапку с острым бархатным верхом, за плечи закинет винтовку иль-бо турку под серебряной насечкой и с серебряными бляхами, в руки возьмет пику острую, древко, ленточкой перевитое, к боку прицепит кривую саблю турецкую в серебряной оправе иль-бо сайдак (лук) с колчаном, — и этим старые казаки рудовать умели, — да как сядет во всем убранстве на лошадь, так и раздуется: гора — горой, копна — копной, ну, просто богатырь старинный, примерно, Илья Муромец, иль-бо Добрыня Никитич. А теперь что? Тарань — таранью!

— Слышал, слышал, матушка! — перебил я хвалебную речь монахини старым яицким казакам. — О Петре-то Федоровиче ты мне рассказывай!

— Прости, дитяtko, заговорилаь немного. Старинку-то, знаешь, вспомнила, ну и того... мысли-то и разгулялись. На чем, бишь, я остановилась? Дай бог память, — сказала монахиня.

— Турский султан присоветовал ему итти на Яик, — подсказал я.

— Да, да, вспомнила, — сказала монахиня, и потом продолжала:

— И говорит салтан турецкий Петру Федоровичу: «Не мешкай, ступай к яицким казакам; объявись, говорит, им, кто ты есть, и обещай, говорит, царским своим словом, пожаловать их вашим крестом и бородой. Они, говорит, теперь в загоне, претерпевают от графа Захар Григорьича Чернышева великую измену насчет вашего креста и бороды. А коли ты пожалуешь их крестом да бородой, то, говорит, постоят же они за тебя, никому не дадут тебя в обиду. Я, говорит, знаю яицких казаков, они, говорит, и ко мне не прочь перейти, есть когда в отечестве станут обижать их насчет креста и бороды, а у меня, сам знаешь, казаки Игнат Некрасова никакой изневаги насчет креста и бороды не претерпевают. Это, говорит, я говорю тебе из жалости одной: человек-то ты добрый, гонимый; а то, что, говорит, за охота отбивать мне у самого себя доход: не ныне — завтра, знаю, все казаки, что ни есть в Российском царстве, будут в моем обладании, стоит только клич кликнуть. Игнат Некрасов показал дорогу. Ступай, говорит, куда велю; не трать понапрасну время, и так, говорит, не за что, не про что пропало лет десять, как ты без места». — Вот он и пришел на Яик, наш батюшка, — заговорила монахиня.

— Какой батюшка? Пугач-то? — спросил я.

— Какой Пугач, родимый? Не Пугач, а сам Петр Федорович! — сказала монахиня таким тоном простоты и уверенности, что, казалось бы, и возражать не следовало; но я все-таки возразил:

— Ах, матушка, как же и обманули вас! Ведь то был проходимец, простой казак с Дона, Емельян Пугачев.

— Нет, нет, дитячко! — говорила монахиня. — Это выдумали враги его, супротивники, питерские енералы и сенаторы, что сторону Катерины Лексевны держали. Они и Пугачем-то прозвали его и распустили в миру славу о нем. Он, видишь ли, воин был, пугал их, так и прозвали его: Пугач, да Пугач! А он был на самом деле Петр Федорович. Есть когда б он был не Петр Федорович, — продолжала монахиня, — то б не то и было, тогда бы и духу нашего не осталось на Яике, даром что Яик-то наш, родной кровью заслуженный. Я тебе вот что расскажу, дитячко. Как только случилось в ту пору на Яике завороха, сиречь, как только объявился Петр Федорович и наши казаки признали его за государя и уверовали в него, — то недели через три и прискакал на Яик от матушки-царицы гонец, чтобы, знаешь, потушить, замять это дело, чтобы, знаешь, не дать огласки и в Расеи, и в иных землях. А наши казаки, — знамо, не сами собой, а с приказа Петра Федоровича, — наши казаки возьми да и приспокой этого гонца (при этих

словах монахиня сделала очень выразительный и вразумительный жест, как приспокоили гонца...) Видно так надо было, — прибавила она с какой-то не то насмешливой, не то жалостливой ужимкой. — А как узнали в Питере об этом гонце, что приспокоен, то все эти Чернышевы, Орловы и взъелись на наших казаков: «Их, говорят, это дело, — никто другой тут не виноват».

Приступили к царице и дают ей такой совет, чтобы всех казаков на Яике, даже до сущего младенца, искоренить, чтобы и звания нашего не было, чтобы и город наш с землей сравнять, камня на камне не оставить. Однако мудрая Катерина Лексевна такому злему совету не вняла: «Никогда, говорит, этого не будет! Ведь они (сиречь, казаки-то наши), ведь они, говорит, не за мужика какого стоят, а за царское имя». Вот и выходит, что то был не Пугач какой, а все-таки он сам, сиречь, анператор Петр Федорович.

— Опять вот что скажу тебе, дитячко, — говорила монахиня. — Как он впервые-то обозначился, в ту пору многие из наших казаков признавали его в лицо. Мой свекор — тогда-то, знамо, он не был свекром, а стал после — родной мой свекор ехал из города, в Танинские хутора, а навстречу ему, на Белых-Горках, попалась партия казаков с харунками (знаменами). Наперед всех, в парчевом одеянье, ехал мужчина, такой мужественный, такой величавый, индо свекор мой испугался, остановился, скинул шапку и поклонился.

— Чей ты? — спросила особа.

— Перстняков! — говорит свекор и опять поклонился.

— Как твоего отца зовут?

— Иваном! — говорит свекор.

— Помню, помню! — говорит особа. — Воротись, говорит, домой и скажи своему отцу, чтобы сию минуту явился ко мне и представил бы жалованный ковш, что я пожаловал ему в Питере, когда наследником был: он знает».

— И поскакал свекор мой сломя голову назад в город и рассказал своему отцу: «Так де и так, — батюшка!» На ту пору отца свекора била лихоманка (лихорадка), однако велел сыну запретить в телегу лошадь, а сам достал из сундука жалованный ковш, оделся по-праздничному и поехал в Белы-Горки, а на Горках поделаны уже были рели, словно для качалок, а на релях качались удавленники, человек с семь: это были из наших же казаков, кто

не признавал Петра Федоровича. А он не давал никому потачки, кто не веровал в него — казак ли, баба ли, барин ли, барыня ли, — все единственно, всех, значит, смерти предавал. Отец моего свекора как взглянул на него, так с первого же раза и признал его, нашего батюшку, и поверовал в него. А признал его потому, что в Питере его видал, когда он был еще наследником. И не один отец свекора, а и иные многие казаки, что в Питер с царским кусом езжали, признавали его. А он и сам многих признавал. Бывало, достанет из кармана бумагу и читает: «в таком-то году, вот тот-то приезжал; того-то вот тем-то, а того-то вот тем-то дарил». И все выходила правда. Значит, и был он настоящий царь...

— И с той самой поры пошел трус — мятеж по всему нашему войску! — продолжала монахиня. — Чего, чего, кормилец, не было: и давили, и топили, и расстреливали — ужаси господни!.. Ночью, бывало, по улицам не ходи. Бесперечь окликают: «Кто идет?» Скажешь: «Казак!» Спросят: «Чьей стороны?» Ну, и не знаешь, как сказать, не знаешь, с какой стороны спрашивают. Одно было спасенье: «Калмык!» — скажешь, и лучше. Их что-то не трогали. Мы, кормилец, жили в самых куренях, близ самой, выходит, крепости, и я наслышалась страстей-ужастей вдоволь, индо и донесь мерещится. Бесперечь на приступ ходили, подкопы вели, из пушек, из пицалей без умолку палили индо мать сыра земля стонала, а с крепости смолой, варом обливали! Сколько народу погибло — страсти господни! Я чаю, от зачатка нашего города не бывало такого кровопролития. Моего родного дядю, по матери, и с сыном — Кораблевы прозывались — на приступе убили. А в поле-то, бывало, съедутся, то же самое. Примерно, сторону царицы держит отец, а сторону царя — сын. Лошади под обоими семьянны. Как съедутся, лошади-то и заржут, — знамо, спознают друг дружку. По лошадям и воины-то спознают друг друга. Отец, бывало, кричит сыну: «Эй, сынок! иди на нашу сторону! Не то убью!» А сын отцу в ответ: «Эй, батюшка! иди на нашу сторону! Не то убью!» А тут подскочет какой-нибудь полковник, да и гаркнет: «В ноле съезжаться — родней не считаться! Бей!» И хватит, выстрелит кто-нибудь из пицали, иль-бо отец в сына, иль-бо сын в отца! Таковое-то было кровопролитие за грехи наши.

Монахиня замолчала и перекрестилась. Немного погодя, я спросил:

— А знавала ли ты, матушка, Устинью, жену Пугачева?

— Устинью-то Петровну? — отвечала монахиня. — Как не знать? Шаброво дело, всего только через два дома друг от дружки жили.

— Как же этакое дело случилось, что Пугач на ней женился? Сам что ли он захотел, или присоветовал кто?

— Не знаю, как сказать тебе, кормилец, чтоб не солгать на старости лет, — сказала монахиня. — В ту пору мое дело было детское, а после, как подросла, слышала на-двое: одни говорили, что Петр Федорович сам захотел, другие говорили, что графы да сенаторы ему присоветовали...

— Какие графы, сенаторы? — спросил я.

Монахиня улыбнулась и отвечала:

— Да все воины наши — все эти Орловы, Чернышевы и иные прочие. Ведь у него целая свита была набрана из наших казаков: кто графом Орловым звался, кто Чернышевым, кто другим каким енералом, сенатором, что в Питере при Катерине Лексевне состояли. Ну, с лентами через плечо щеголяли, прости господи, и грех и смех...

Монахиня опять улыбнулась. Немного погодя, она продолжала:

— Сидит это он, Петр-то Федорович, под окном и смотрит на улицу, а Устинья Петровна на ту пору бежит через улицу, в одной фуфаечке да в кисейной рубашечке, рукава засучены по локти, а руки в красной краске. Она, видишь ли, занималась рукодельем, шерсть красила да кушачки ткала, такая мастерица была. Увидал ее Петр Федорович, — а она была красоты неописанной, — увидал ее и влюбился; спрашивает своих сенаторов:

— Чья эта девица?

— Дочь казака Кузнецова!? — говорят сенаторы.

— Сию же минуту, говорит, ведите меня в дом к казаку Кузнецову.

И пошли в дом к Кузнецовым. Посмотрел Петр Федорович на Устинью Петровну пристально, а она вышла к нему обряжена, как следует, в нарядном сарафане, в жемчужной подвязке, с монистами и жемчугами на шее, в черевичках, золотом расшитых, — как следует девице хорошего отца-матери. Посмотрел на нее Петр Федорович, и пуще прежнего полюбилась она ему: больно уж красотой взяла.

— Хочу, говорит, на ней жениться.

А секаторы будто бы ему в ответ:

— Нельзя делу этому статься.

— Как так? — спрашивает Петр Федорович.

А сенаторы будто бы ему в ответ:

— Мы, чай, не басурманы: от живой жены жениться закон воспрещает.

— А я вам скажу: закон не воспрещает! — говорит Петр Федорович.

— Как так? — Это уж сенаторы-то будто спрашивают его.

— А вот как! — говорит он. — С женой моей я разошелся давно, больше десяти годов, говорит, живем мы с ней порознь, а закон разрешает после развода жениться через семь лет. Теперича возьмите в толк вот еще что, — говорит Петр Федорович. — Ведь цари-то — не как простые люди, цари не связаны никаким законом, цари сами закон, — когда захотят, тогда и женятся, на ком хотят, на том и женятся. Кто им смеет указывать?

— Вот такими-то словами будто бы и урезонил Петр Федорович своих енералов и сенаторов, — сказала монахиня, — и женился на Устинье Петровне. А другие говорили иное, — присоветовала, немного погодя, монахиня. — Другие говорили, будто Петр Федорович не сам собой женился, а графы да сенаторы присоветовали, сбили его с пути истинного. Ему, видишь ли, хотелось иметь ее, сиречь Устинью Петровну, — прости, господи, за слово! — хотелось иметь ее полюбовницею. А сенаторы-то и стали протъ него, особенно, говорят, Мишка Толкачев. Правда, надо сказать, Мишка первый ходок был у Петра Федоровича по таким делам. Однако, как коснулось дело до сродственницы — он сродни был Кузнецовым — так запел другое. По его, говорят, совету, сенаторы наши приступили к Петру Федоровичу и говорят: «Бесчестно отецкой дочери быть наложницей. Не подобает и царской особе пребывать в грехе... А есть когда угодно твоей царской милости, чтоб отецкая дочь была твоей, то, говорят, сочетайся с ней законным браком». А он им в ответ: «Нельзя этому делу статься, сами знаете, у меня жена жива». А они ему говорят: «Какая у тебя жена? Та, что ли, что в Питере-то живет и мудрит? Что она тебе за жена? Не жена она, а супротивница!.. Что тут много толковать, — говорят сенаторы, — есть когда Устинья Петровна тебе полюбилась, — женись да и баста! А на ту нечего смотреть: немного она нацарит. Ты только положишься на нас. Грудью за тебя постоим, жизни не пожалеем! Всю анперю с тобой пройдем, Москву возьмем, Питер возьмем, и самое ее пленим!»

«Таким-то побытом, — продолжала монахиня, — графы, сенаторы и соблазнили Петра Федоровича, на грех навели и этим самым делом, сиречь женитьбой-то Петра Федоровича на Устинье Петровне, всю кашу испортили. Как узнали в миру про женитьбу Петра Федоровича, так народ-то усумнился и весь отшатнулся от него, а то бы, глядишь, не то и было... Армия, что из Москвы на него шла, вся армия, касатик, хотела преклонить пред ним знамена и покориться ему, как законному своему анператору. А как узнали, что он от живой жены женился, так и захлестнуло. «Пугач, а не царь!» — сказали солдаты и командиры ихние и с той поры стали супротив него.

Узнала об этом и Катерина Лексевна и крепко разобиделась, матушка. «Есть когда он так поступил, сказала государыня, — то и я поступлю с ним по-свойски! — Поезжай, — говорит она князю Голицыну, — поезжай на Яик и беспременно разбей его, греховодника! Живого или мертвого, все единственно, говорит, представь его ко мне; будет, говорит, ему прокуратить и мир мутить; пора, говорит, положить предел его затеям, им же несть конца!»

— И князь Голицын разбил его у Татищевой, как приказывала государыня, — сказала монахиня таким тоном, который ясно выражал сочувствие рассказчицы к неудаче Пугачева. — А дотолева все командиры и енералы потрафляли Петру Федоровичу, мало с ним стражались, а коли и стражались, то неохотно, касатик: знамо, и сами опасались, — дело было закрыто: почем знать, чья бы взяла? Есть когда бы не женитьба, не то бы и было. Так старики говорили. От Татищевой он бежал на Волгу, — продолжала монахиня, — но нигде большой удачи не имел, по той самой причине, что мир-то в нем усумнился, да и казаки наши все почесть от него отшатнулись — самая малость при нем осталась. От Волги он опять бросился было к Яику, да дальше Узеней оттуда, голубчик, не пошел. Сами же казаки, что при нем оставались, привезли его с Узеней в город и сдали командирам, а командиры, знамо дело, представили его в Питер к государыне. Там, значит, и кончил он дни свои в мире и тишине.

Монахиня перекрестилась.

— Как в мире и тишине? — перебил я. — Его, как буяна, душегубца, казнили!

Монахиня улыбнулась.

— Казнить-то казнили, дитяtko, — сказала она, — да не его, а другого, подставного какого-то человека, такого, видишь ли, подыскали колодника,

кой согласился умереть за него за деньги. Деньги-то, знамо, пошли детям его, этого колодника.

— Как так? Не может быть! — возразил я.

— Так, так, касатик! Ты уж лучше не спорь, всяк тебе то же скажет, — сказала монахиня. — А есть когда хочешь знать это до всей тонкости, то поезжай на Свистун и отыщи там кого-нибудь из старожилков из Кузнецова дома: они лучше дело это знают, потому семья их тут замешалась.

— Да, кстати, матушка, скажи-ка: что случилось с Устиньей? — спросил я, когда речь снова зашла о Кузнецовых.

— Устинья Петровна и две сестры Толкачевы, — обе девушки, что во фрейлинах при ней состояли, — взяты в Питер, касатик, — отвечала монахиня. — Царица призывала их к себе, смотрела одеянья на них и похвалила: «прилично де и красиво». Только Устинье Петровне сделала слегка выговор за башмаки, что золотом были вышиты: «Не подобает, Устинья Петровна, украшать башмаки золотом, сказала царица. — Я вот законная царица, да и то башмаки у меня без золота: золото идет только на украшение святых икон, а на башмаках ему не следует быть». После того фрейлин Толкачевых обдарила государыня и отпустила на Яик, а Устинью Петровну оставила при себе в Питере, а на Яик не отпустила. Там, в Питере-то, значит, Устинья Петровна и жизнь свою кончила.

— Несчастливая! — невольно сорвалось у меня с языка. — Пропала ни за что!

— Ах, что ты говоришь, дитячко! — возразила монахиня. — Что она за несчастная! Разве что умерла не на своей стороне, а то, что за несчастная? Дай бог всякому такого несчастья. Матушка-царица приспокоила ее в каком-то хорошем монастыре, где Устинья Петровна и прожила во всяком изобилии и удовольствии. И сына-то ее матушка-царица осчастливила...

.— Какого сына? — спросил я.

— Какого? — в свою очередь, спросила меня монахиня, видимо озадаченная моим неведением. — Неужто ты не знаешь? Ведь Устинья Петровна осталась беременна от Петра Федоровича; жимши в Питере, она и родила сына. Вот этого-то самого сына матушка-царица и воспитала, как подобает, за царского сына; а как дошел он до отроческих-то лет, взяла да и подарила его какому-то бездетному королю иной земли, чтобы престол его наследовать. Разве это плохо? — заметила монахиня.

— Коли плохо! — сказал я, улыбаясь. — Только правда ли?

— Еще бы неправда! — сказала монахиня. — Есть когда мир болтал, то и я болтаю. Только как же, касатик, всему миру-то болтать, — прибавила она. — «Глас народа — глас божий». Еще вот что не забудь, касатик: есть когда б все это болтовня была, то посуди: отчего Мартемьян Михайлыч не узрил родину, а пропал в Питере, в одночас, говорят, умер, а може и не умер, може, и в темнице весь век томился...